

голова... Я боялся присматриваться... Мне казалось, что мимо меня проходит самая страшная тайна мира...»¹⁹

Смерть Писарева у Бунина тоже выступает во всей своей «вещественности». Первое впечатление — «лиловато-смуглая» выпуклость глаз, прямо стоящие связанные ступни. Эта смерть случилась в пору первой влюбленности — в Анхен. Так впервые в жизни Арсеньева встретились смерть и Эрос. Отныне они будут неразлучны. Поэтому Арсеньев и говорит: «...весна, самая необыкновенная во всей моей жизни» (6, 105). Смерть обострила чувство жизни. «Пели зяблики, желтела нежно и весело опушившаяся акация, сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы, однообразно, важно и торжествующе, не нарушая кроткой тишины сада, орали грачи вдали на низах, на старых березах, там, где в оливковый весенний дымок сливалась еще голая ивовая поросль... *И во всем была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью!*» (6, 105. Курсив мой. — О. С.). В этом эпизоде Бунин то отождествляет жизнь и смерть, то смешивает их, то разводит, то резко противопоставляет. Для этого он прибегает к далеко не тривиальному композиционному приему. Бунин разрезает эпизод смерти Писарева границей между первой и второй книгой. Обычно эпизод в своей завершенности целиком входит в отдельную главу. Бунину понадобилось разорвать его даже не главами, а более крупными композиционными блоками — книгами. Так он достигает двуединого эффекта: непрерывности и прерывистости, единства и полярности.

Нота, на которой обрывается первая книга, — это жизнь, счастье, любовь, нежность, обостренные близостью смерти. Нота, с которой начинается следующая книга, — это чувство присутствия в бытии чего-то зловещего. Чувства резко изменились, хотя за это время ничего не произошло. Облик смерти становится еще более «вещественным», т. е. плотским, физиологичным, вызывающим и запредельный ужас, и омерзение: «трупный лик», «плоские слипшиеся губы», «ледяная твердость темно-лиловой кости лба» — от всего этого веяло «холодом и смрадом». С одной стороны, смерть становится еще более достоверной, с другой — еще более непостижимой. Невозможно представить, что будет там, и невозможно постичь: «его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть сто лет!» (6, 109). Покойный Писарев — это уже не человек, это — «оно», «*нечто священное, но вместе с тем и непристойно-земное, непотребное*» (6, 110). Выделенное нами курсивом — это самая краткая и самая точная формула того двойственного и двуединого впечатления, которое вызывает у человека смерть. Биологическое начало героя потрясено: и «я» смертен. Но столь же непоколебимо, вопреки всему: а «я» бессмертен. Арсеньев «пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое... Но веры в это не было ни малейшей...» (6, 112).

То, что проявляет себя на уровне глубочайших инстинктов, как всегда у Бунина, сопряжено с запахами: «...я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба. Но запах этот как-то особенно возбуждающе мешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом...» (6, 113). После того как тело было предано земле, входит мелодия жизни: Анхен, Христово песнопение... «Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него...» (6, 112). Это звучит почти так же, как фраза из «Господина из Сан-Франциско»: после смерти американца «на острове снова водворились мир и

¹⁹ Там же. С. 39.